

95 лет со дня  
рождения  
А. М. Горького



Я привык смотреть на литературу как на дело революционное. Всякий раз, когда я говорю о литературе, я как будто вступаю в бой...

М. ГОРЬКИЙ

**В** ГОДИНУ страшного народного бедствия шел нижегородский цеховой Алексей Пешков по дорогам России. Как и миллионы голодающих, он отшагивал за иной день не один десяток верст, брался ради куска хлеба за любую работу и валился, смертельно усталый, на грязные нары ночлежек, а еще чаще — на голову землю.

Отличало его от многих, с кем он делил эти тяжкие испытания, лишь то, что его подгонял не только физический голод. Еще сильнее его толкало вперед желание узнать свой народ, понять причины его страданий. И от этого скитания юноши становились особенно трудными. Сколько раз попадал он как «подозрительный» в полицейские участки. Сколько раз его избивали до полусмерти за то, что он приходил на помощь к унижаемым и оскорблеваемым. Он так часто оказывался на краю гибели, что можно считать чудом — и счастьем для всех нас, — что Алексей Пешков стал Максимом Горьким.

Для него самого это «превращение» не было неожиданным. Он недаром начал свои хождения по Руси с прихода в Ясную Поляну, а затем в Москву, в Хамовники: он мечтал встретиться с Львом Толстым. Эта мечта тогда не сбылась, но произошла другая встреча — с В. Г. Короленко, которому юноша отдал на суд свои первые литературные опыты. Они оказались неудачными, — что ж, значит, надо больше узнать, большему научиться, значит, путь к литературе еще должен пройти через многие пути-дороги родной страны...

Нет, приход в литературу не был для него неожиданным. Неожиданным было то, что он увидел в литературе. Произнося до этого слово «писатель», он вспоминал о Пушкине, Толстом и других творцах великой русской литературы, которые не знали интересов более высоких, чем интересы народа. Становясь писателем, Горький думал, что и другие, вступающие в литературу одновременно с ним, в первую очередь, когда переполнилась чаша народных страданий, думают лишь о том, чтобы поднять голос протеста, чтобы ринуться в бой с самодержавием. Но далеко не все опровергали эту уверенность.

Особенно громко шумели поэты, которые кричали о своей молодости, хотя были старше Горь-

кого (просто они не имели за плечами таких испытаний, да и никаких испытаний вообще), и называли себя новаторами, хотя надо было обладать исключительной самонадеянностью, чтобы называть себя так в годы гениальных художественных открытий Толстого и Чехова.

Горький вслушался в хор голосов этих поэтов, и душой его овладел гнев. Это они — молодые? Это они несут обновление в жизнь и в искусство?

Один из поэтов жаловался:

Мы устали преследовать цели,  
На работу затрачивать силы,  
Мы созрели для могилы.

Другой придавал этой же мысли оттенок бравады:

Будь что будет — все равно!  
Все наскучило давно...

Третий подводил под это настроение целую философию, заявляя, что он ненавидит человечество и что у него нет иного отечества, кроме собственной «пустынной души». При этом все они объявляли себя «предтечами» какой-то весны и спасителями искусства. От кого они его спасали? От идей Чернышевского и Добролюбова. В одном из первых декадентских манифестов утверждалось, что «упадок» русской литературы начался с отрицания «чистого искусства».

Имея в виду этих поэтов и близких им по духу живописцев, Горький писал в 1896 году: «...господа художники и поэты, пораженные декадансом, модной болезнью, смотрят на искусство как на область свободного и никакими законами не стесняемого выражения своих личных чувств и ощущений. «Искусство — свободно», — твердо помнят они и с уверенностью занимаются гайдамачеством в искусстве, выдвигая на место кристально чистого и звучного пушкинского стиха свои неритмичные стихи, без размера и без содержания, с туманными образами и с дутыми претензиями на оригинальность тем, а на место картин Репина, Перова, Прянишникова и других колоссов русской живописи — колосальные полотна, техника которых вполне родственна угловатым и растрепанным стихам madame Гиппиус и ниже с ней. Каждой социальной смысл во всем этом, какое положительное значение может иметь эта пляска святого Витта в поэзии и живописи?»

Статьи Горького, направленные против декаданса, появились в провинциальной прессе, но их не оставили без ответа даже столичные газеты. Любопытно, что первый широкий отклик в печати получили эти статьи, а не художественные произведения Горького. Отклик этот носил по преимуществу враждебный характер. Автора «Челкаша», «Моего спутника» и других рассказов, признанных вскоре классическими, обвинили в полном непонимании искусства и в покушении на его свободу.

# ...И НЕТ КОНЦА ЕГО ПУТИ

Б. БЯЛИК

Горький ответил, и его ответ звучит так, как будто он выскажан не семьдесят лет тому назад, а сегодня: «Вы приглашаете меня к признанию за искусством свободы. Я не отрицаю свободы искусства, я только решительно высказываюсь против свободы «чудачеств» в искусстве».

В отличие от народнической критики, Горький не рассматривал декаданс как простую нелепость, которую надо только выслушивать, или как психическое заболевание, которым должны заняться врачи. Он видел в «новом» искусстве немало нелепого, но для него была очевидна идеологическая природа этого явления. Значило ли это, что он считал всех декадентов прямими и сознательными защитниками реакции? Нет, в статье «Поль Верлен и декаденты» он охарактеризовал некоторых из них как людей, искренне ненавидящих буржуазное общество, но потерявших веру в возможность изменения действительности, влавших в отчаяние и заражающих своим безверием и отчаянием других. Однако тем резче он подчеркивал, что «декаденты и декадентство — явление вредное, антиобщественное, — явление, с которым необходимо бороться».

Так думал Горький в начале своей литературной деятельности, когда русский декаданс лишь зарождался, являясь во многом данью западноевропейской моде. Так продолжал он думать и в первые годы после Октябрьской революции, когда различные декадентские течения стали выступать под флагом «левого» искусства. Он писал в 1918 году: «Рабочий — тоже художник, ибо он дает бесформенному заключенным формы. Ему не может нравиться и ничего нового ему не скажет кубизм и вся так называемая «линейная живопись»...» Прошло еще десять лет, и Горький выразил ту же мысль в ироническом замечании о те-

атрах, в которых «вместо искусства — публике показывают со сцены стилизованный куквиш». Самое последнее литературно-критическое выступление Горького продолжало ту борьбу, которую он начал в самых ранних выступлениях. Это была статья «О формализме».

Как у всякого живого человека, у Горького были свои увлечения и пристрастия. Но в большинстве своих оценок он был удивительно точен и прозорлив. А главное, он был совершенно чужд каких бы то ни было групповых соображений. Ему страстно хотелось, чтобы как можно больше талантливых деятелей искусства объединилось на платформе социалистического реализма, но — именно на этой платформе. Выйдя из народа, он оставался с народом, говорил от лица народа и признавал лишь искусство, нужное народу, важное, необходимое миллионам людей. Он презирал фальшивые слова об «абсолютной свободе» личности и творчества.

В наши дни особенно ясна близорукость тех критиков, которые утверждали, что Горький не должен был ставить в центр своей грандиозной эпопеи о сорока годах русской жизни такого ничтожного даже в отрицательном плане, такого жалкого «героя», как Самгин. Да, Самгин жалок, но самгинщина — иллюзия о возможности полной «независимости», «беспартийности» в обществе, раздираемом на части борьбой классов и идеологий, — не просто жалка. Это очень опасная, возможно, самая опасная иллюзия в нашу эпоху, когда буржуазная идеология уже не может наступать с открытым забралом и когда она изображает себя и не буржуазной, и не идеологией, а «независимой» представительницей «свободного мира».

Необходимо вдуматься в смысл многих судеб, изображенных на страницах «Жизни Климента Самгина», например — в смысл судьбы Инокова, начинающего писателя, исходившего пешком пол-России, много узнавшего и пережившего и выражавшего в своих первых произведениях и в своих газетных корреспонденциях протест против всяческой неправды. В истории его жизни есть поначалу нечто, заставляющее вспомнить о молодом Горьком; ему приданы даже внешние автопортретные черты. Но затем его судьба принимает такой оборот, что ни о каком сходстве с Горьким уже не может быть и речи: литературное дарование Инокова гаснет, не успев разгореться, он впадает в анархизм и оказывается на краю полного духовного краха, относя себя к таким же «безответственным», как и Самгин.

Зачем понадобилось Горькому изображать такого человека, сперва очень близкого ему самому, потом бесконечно далекого от него? В этом был глубокий смысл. Перелом в судьбе Инокова наступил в тот момент, когда жизнь потребовала от него овладения «общей идеей» эпохи, когда он должен был определить со всей четкостью свое место в идеиной борьбе. Иноков этого не сделал, охраняя свою «независимость», и был жестоко наказан утратой духовной свободы. Сам Горький поступил, как известно, совершенно

иначе. Но такая опасность могла возникнуть в то время и перед ним, если бы он не обрел опоры в идеях В. И. Ленина, в борьбе большевистской партии, в принципе партийности литературы. Разве не важно, не поучительно было рассказать о том, что могло с ним случиться на рубеже двух веков, если бы не эта спасительная опора?

Могла возникнуть в то время перед Горьким и другая опасность, о чём он написал тогда же в рассказе «Читатель», в незаконченной повести «Публика», в памфлете «О писателе, который зазнался». Этой опасностью было желание нравиться, нравиться даже тем, похвали которых не должны бы радовать. В момент необыкновенного роста своей популярности Горький открыто заявил, что хочет быть близок и нужен народу, но не хочет нравиться обычайям. Резко разграничивая читателей и почитателей, он писал: «...я уверен: необходимо, когда у писателя много почитателей. И всякий человек, имеющий дело с «публикой», должен насыщать воздух вокруг себя карболовой кислотой правды».

Когда Горький приехал в Америку, ему устроили в Нью-Йорке торжественную встречу. В газете «Нью-Йорк таймс» появилась статья под названием «Буря энтузиазма приветствовала Максима Горького». Стало известно, что его хочет принять в Белом доме президент. Но президент отказался от этого намерения, и волна энтузиазма — в той мере, в какой это касалось буржуазных журналистов (честные американцы стали поддерживать его еще более горячо), — сменилась травлей писателя-революционера. Это произошло потому, что он не скрыл ни от кого своей политической позиции и не скрыл своего отношения к американскому капитализму.

Тогда же он ответил французским журналистам, обидевшимся на него за памфлет «Прекрасная Франция» и выразившим недовольство: «Мы любим Горького, а он...» Ответ Горького был прост и ясен:

«Господа! Искренне говорю вам: мне, социалисту, глубоко оскорбительна любовь буржуа!

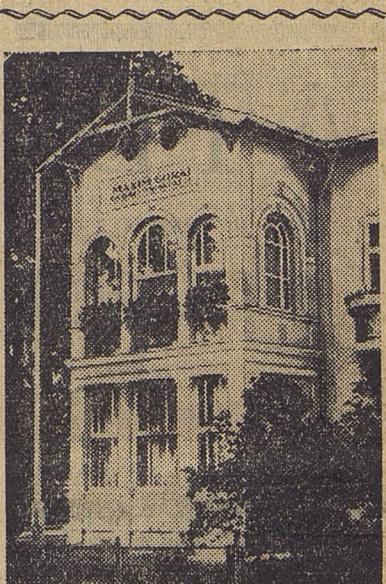
Надеюсь, что эти строки вполне точно и навсегда определят наши взаимные отношения».

Так оно и случилось. То размежевание, которое Горький провел между собою и буржуазной «публикой», сразу же отразилось в оценках его творчества. Когда была опубликована гениальная драма «На дне», видный либеральный деятель провозгласил: «Горький кончается». Когда писатель открыто заявил о поддержке им большевиков, известный буржуазный литератор написал статью под названием «Конец Горького». Прошло еще несколько лет, и другой литератор стал доказывать, что Горький не только кончился, но никогда и не начинялся.

Что стало с этими людьми? Неизвестно. Они появлялись и исчезали, и никого уже не интересуют ни их начала, ни их концы.

А нижегородский цеховой Алексей Пешков, великий русский писатель Максим Горький шагает и шагает по дорогам родной страны и всего мира, согревая теплом своего неугасимого сердца миллионы человеческих душ.

И нет конца его пути.



На снимке — Дом-музей Горького в Херингсдорфе (ГДР). Вот что пишет нам автор снимка К. Пирогов: «Вilla стоит среди высоких сосновых деревьев. На мемориальной доске у входа надпись: «Здесь, в этом доме, в 1922 году, с мая по сентябрь жил великий писатель-революционер Максим Горький». Много туристов посещает этот дом. В книге отзывов можно встретить фразы на разных языках. Особенно мне понравилась одна запись, сделанная на немецком: «Его книги будут всегда бессмертны».